**ГОРОДЕЦКИЙ. СТОНЫ, ЗВОНЫ, ПЕРЕЗВОНЫ**

Среди многочисленных – более сотни – сонетов-медальонов Игоря Северянина, посвященных русским поэтам и писателям, нет сонета
о Городецком. А ведь Северянин даже для Вербицкой и Любови Столицы не поскупился, отсчитал ровно по четырнадцать строк каждой.

Отчего ж такая немилость к известному поэту?

Городецкий долгое время слыл всеобщим любимцем.

Милейший человек! – был всеобщий глас. – Какой внимательный! Какой услужливый! Какой деликатный!

После революции внимательности, услужливости и деликатности поубавилось, и милейшим человеком Городецкого уже никто не считал, да ему это было уже и не нужно.

Когда Городецкий впервые читал свои стихи из сборника «Ярь» на Башне у Вячеслава Иванова, все были в каком-то экстатическом восторге. Ещё бы – прозвучало новое слово – подлинное, русское, неискажённое городом и грамматикой.

Только у Мережковского хватило душевной трезвости и крепости, чтобы не поддаться. Может быть, именно тогда он и придумал свой знаменитый афоризм: «Что по́шло, то пошло́».

Древний хаос потревожим,

Космос скованный низложим, –

Мы ведь можем, можем, можем!

А эти строки Городецкого, по словам Мережковского, были сущностью мистического хулиганства.

Видимо, русский модернизм нуждался в чём-то таком: народном? славянском? языческом? в таком наивно безвкусном? Кажется, всякого уже было достаточно, но, может быть, это спор о приоритетах.

Как бы там ни было, самые тонкие ценители, самые глубокие знатоки были в восторге. От Блока до Вячеслава Иванова.

«Миф – это наибольшая ложь. А большая ложь – это существенный признак той большой, здоровой поэзии, которой так теперь хочется. Лги по правде – вот формула, т. е. так, чтобы тебе поверили», – писал Городецкий. Особенно хорошо для таких завиральных целей наше язычество: лги, что хочешь, всё равно никто не поймает. Русские боги не знали письменности, как будто предвидя поэзию, которая наскажет
о них всякого.

Может, и Гомер вот так же – практически на ровном месте, зная только несколько непривычно звучащих имён, – создавал греческую мифологию, а заодно и Элладу.

А ведь была потом настоящая попытка создания легендарной древней Руси: Вячеслав Иванов стал писать «Повесть о Светомире царевиче». Но это ведь не сборник «Ярь», тут читателей, почитателей было намного меньше. Не по́шло и не пошло́.

Городецкий потрафил вкусам публики. Есть настоящая история Древней Руси – тёмная, малоизученная, сложная, и есть интеллигентские ожидания такой истории – вполне в билибинском, в городецком духе. Даже Блоку не удалось удержаться, и есть в цикле «На поле Куликовом» несколько фальшивых, приятных слуху нот.

Свекровь-госпожа в терему до полдён заспалась:

Спи, ро́дная, спи, я одна, молода, убралась!

Серьгу и кольцо я в бору колдуну отдала,

Питьё на меду да на сладком корню развела.

Когда холодный и по-дворянски надменный Бунин публиковал эти
и другие свои стихи из крестьянской жизни, модернисты морщились и отшатывались, потому что это было страшно и правдиво. И ещё Городецкий основывал традицию, а развить бунинские темы мог только Бунин.

Городецкий обладал разнообразными талантами: он и картинки рисовал, портреты собратьев по перу – быстро схватывал похожесть и – одним махом её на бумагу. Точнее, не на бумагу: Городецкий рисовал на каком-то странном материале – то ли сырмяжке, то ли дерюжке, но так, чтобы этак понароднее выходило. А! На рогожке.

Вся-то живопись – из куля в рогожку!

На вечерах, устраиваемых Городецким, над сценой висел портрет Кольцова, украшенный снопами ржи или пшеницы. Ну так кто в тогдашнем Петербурге, кроме Клюева, умел различать злаки?

Поэт Кольцов хорош и показателен как пример тяготения народа
к искусству, а как поэт, к сожалению, плох. Образованный человек, подражающий неловкостям и шероховатостям поэзии Кольцова, даже не смешон. Это оскорбление в первую очередь для памяти Кольцова, который во всяком случае старался писать грамотно.

Снопы ржи. А вместо председательского колокольчика использовался тимпан. Ну и одеты все были соответственно, так что Сологуб интересовался, где берут лапти напрокат.

То, что Городецкий плохо знал народную поэзию – не беда. Поэт – не фольклорист. Дело поэта – давать народу песни.

А дело народа – решать, какие песни он будет петь, а какие – нет.

Разница между русским и псевдорусским в искусстве – это разница между стихами, которые хочется похвалить, и теми, которые надо обругать.

Многие отмечали близость поэзии Некрасова и Городецкого. Сходство, конечно, есть, но это очень поверхностное сходство: Некрасова волновали страдания народа, Городецкому был позарез нужен народный антураж.

В 1907 году Городецкий был арестован и десять дней провёл в «Крестах». За это время он успел написать целый цикл «Тюремных песен». По этим стихам кажется, что Городецкий сидел в какой-то условной, а не реальной тюрьме. А голуби, клюющие крошки под решётчатым окном, прилетели не с воли, а с картины художника Ярошенко.

Многие поэты имеют преувеличенное представление о своем месте в литературе. Весьма простительная ошибка. Но в случае Городецкого поражает масштаб искажения.

«Вячеслав Иванов – стилизатор. Моя же работа вывела русский язык из тупика, в который завели его эстеты», – писал Городецкий, попутав Божий дар с яичницей. Славянство Вячеслава Иванова было вышедшим из-под спуда тихим светом, озарившим и преобразившим язык поэзии. Словесные эксперименты Городецкого были погремушками, очаровавшими слушателей, но быстро надоевшими. Русские тимпаны, что бы это ни значило.

И товарища своей юности, Блока, Городецкий со временем тоже начал трактовать несколько свысока, если и оправдывая его поэзию, то только за поэму «Двенадцать».

После Цветаевой с её русскими песнями, сказками Городецкий стал невыносимо пресен. Гениально исковерканный синтаксис Цветаевой совершенно не соответствовал строю народной речи, но неожиданно давал понятие о том праязыке, на котором, возможно, говорили наши предки.

Перу Городецкого принадлежит антиинтеллигентский пасквиль «Формуляр идеалиста», заканчивавшийся строками:

Всю жизнь стоял он за народ.

Но только задом наперёд.

Как будто это Городецкий о себе написал.

Советская литература умела похвалить пошедших к ней на службу поэтов. В предисловии к сборнику Городецкого в серии «Большая библиотека поэта» было написано: «Влияние школы Некрасова, а отчасти и творчества Демьяна Бедного явственно ощущается в ряде произведений…»

Влияние Демьяна Бедного – это даже для Городецкого слишком.

Мы поедем в Сестрорецкий

Вчетвером, вчетвером.

Если будет Городецкий –

Вшестером, вшестером.

Эти строки вполне можно трактовать как всеобщую историю акмеизма, походя рассказанную Александром Блоком. И действительно: всё за компанию.

Как же мучительно искал Гумилёв соратников, если согласился на Городецкого.

Потом рассказывал, что ценил Городецкого за детскость, за непосредственность. «Ведь не за стихи же», – добавлял Гумилёв.

Городецкий не просто стал одним из многих, но вторым синдиком Цеха Поэтов, одним из вождей движения. Теоретиком!

Третьим синдиком был Кузьмин-Караваев.

Акмеизм… первоначально течение называлось «адамизмом». Адамова голова – известный в народе символ смерти. Мертворожденное, мертвожившее, но оставившее после себя столько живого направление.

Перечисляя имена акмеистов, иногда хочется кого-нибудь от себя прибавить и всегда хочется забыть Городецкого.

Между прочим, Нарбут и Зенкевич только себя считали настоящими акмеистами.

Гумилёв отмечал, что Городецкий – «обладатель неиссякаемой певучей силы (и в этом отношении сравнимый только с Бальмонтом), носитель духа веселого и легкокрылого…»

Что ж, и Бальмонт и Городецкий – оба были ликующие, праздноболтающие, но только у Бальмонта есть несколько десятков абсолютно гениальных стихов, тех, где не прибавишь, не убавишь ни слова. А Городецкий? Убавить из его стихов можно любое слово – и только лучше станет.

Гумилёв радовался, что во время революции Городецкого не оказалось в Петрограде. Зная непосредственный нрав своего друга, Гумилёв опасался, что тот стал бы не стесняясь выказывать большевикам всё, что на душе, резать правду-матку. Дитя, чисто дитя. Непременно бы расстреляли.

Велико же было изумление Гумилёва, когда Городецкий появился
в Петербурге с партийным билетом в кармане и с нелепым пафосом начал читать революционные стихи.

Дитя, чисто дитя… Нет с такого спросу.

Гумилёв говорил, что после этого стал больше ценить людей взрослых, дюжинных, отвечающих за свои поступки.

Георгий Иванов вспоминал, как вскоре после казни Гумилёва встретил в табачном магазине Городецкого.

«Теперь его серые глаза смотрели грустно и “душевно”:

– А бедный Гумилев!.. Такое несчастье...»

И в самом деле, какое несчастье…

«Нет великого Патрокла, жив презрительный Терсит…»[[1]](#footnote-1)

К сожалению, Городецкий не ограничился констатацией «такое несчастье…»

Но обескровливал поэзию

Стальным рассудка лезвиём,

– написал Городецкий о Гумилёве. Свою поэзию Городецкий обескровливал чем угодно, но только не рассудком.

Ужель поэтом не был ты?

– вопрошал Городецкий в финале стихотворения, которое было написано кем угодно, но не поэтом.

Иудин грех не прощается…

Советский Союз не хотел отказаться от музыки Глинки и не мог допустить на сцену оперу «Жизнь за царя». Городецкий написал новое либретто, и появилась политически правильная опера «Иван Сусанин».

Когда в детстве Городецкого спрашивали: «Кем ты хочешь стать?»,
у него было два ответа – действительным статским советником или святым. Может быть, зря я написал «или», может быть – «и»!

Отчество «Митрофанович» было не случайным. Оно определяло кровную связь Городецкого с фонвизинским героем.

Почти у всех в Серебряном веке были духовные искания, метания; случились они и у Городецкого. И привели в мистический анархизм.

Что такое «мистический анархизм» и чем он отличается от анархизма обычного, не мог удовлетворительно объяснить даже его несчастный основатель Георгий Чулков. Что-то в этом учении чувствовалось определённо ноздрёвское: «Шампанское у нас было такое – что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико».

Вот такой не просто, а двойной анархизм, анархизм-матрадура, с подтанцовками. Городецкий для такого учения был одним из самых подходящих адептов.

Настолько устоялось мнение о Городецком как о плохом поэте, что было бы странно найти у него удачные строки. Городецкий и не обманывает – он безнадежно плох, он хорошо постарался, засыпая свои немногочисленные удачи словесным шлаком. А как следует потрудившись и разобрав шлак, понимаешь, что никаких настоящих удач и не было – попусту слова громоздились.

Незадолго до смерти Городецкий получил орден «Знак Почёта». Славы не осталось, так пусть хоть почёт будет.

Можно предположить, что сейчас трудно разделять восторги по поводу поэзии Городецкого, потому что все его открытия, мотивы использованы и развиты другими поэтами, куда более талантливыми, мастеровитыми, а иногда и гениальными. Клюев, Есенин, Цветаева, Вячеслав Иванов – как с ними тягаться Городецкому? Всего лишь предтеча – выстелил, так сказать, стези.

Но всё это не отменяет того факта, что стихи Городецкого просто из рук вон плохи. А интерес к народной культуре, к русскому потаённому языку реализовался в русской поэзии как-то помимо Городецкого.

В самом деле, так ли уж необходим Городецкий, чтобы заинтересоваться русским фольклором?

Если бы не было такого поэта, как Городецкий, то его следовало бы придумать. Для полноты колоды Серебряного века. Потому что какая игра без фосок?

У Золотого века был граф Хвостов, у Серебряного – Городецкий. «Се, мнится явно, сходство есть ». Но Золотой век был умён и насмешлив, а Серебряный – чересчур серьёзен, он не понял своего Хвостова
и «сосульку, тряпку принял за важного человека !»

Есть люди, которым всё прощается: небрежность, необязательность, глупость, пошлость, в конце концов, даже настоящая подлость. Таким легко скользить по жизни. Такие не оставляют следа.

Городецкому простилось всё, даже его поэзия.

Попрыгунья стрекоза…

Стоны, звоны, перезвоны…

1. *Василий Жуковский*. Торжество победителей. [↑](#footnote-ref-1)